

Захар Оскотский



ЗИМНИЙ СКОРЫЙ

Хроника советской эпохи

Захар Оскотский

ЗИМНИЙ
СКОРЫЙ

Хроника советской эпохи

Санкт-Петербург
«БХВ-Петербург»

2014

УДК 82-3
ББК 84
О-74

Оскотский З. Г.

О-74 Зимний скорый. Хроника советской эпохи. — СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 560 с.

ISBN 978-5-9775-3296-9

Эта книга — своего рода реквием поколению, родившемуся после войны, последнему многочисленному и самому образованному советскому поколению. Его талант и энергия могли преобразовать страну, обогатить ее, поднять на уровень самой передовой державы мира. Но бюрократическая система не позволила этому поколению реализовать свои возможности. В романе «Зимний скорый. Хроника советской эпохи» читатель найдет ту правду о недавнем времени, которая поможет лучше понять настоящее и осознанно действовать ради будущего.

Для широкого круга читателей

УДК 82-3
ББК 84

Группа подготовки издания:

Главный редактор	<i>Екатерина Кондукова</i>
Зав. редакцией	<i>Екатерина Капальгина</i>
Компьютерная верстка	<i>Людмила Чесноковой</i>
Корректор	<i>Зинаида Дмитриева</i>
Дизайн обложки	<i>Екатерины Каримовой</i>
Оформление обложки	<i>Марины Дамбиевой</i>

Подписано в печать 29.11.13.
Формат 60×90^{1/16}. Печать офсетная. Усл. печ. л. 35.
Тираж 1000 экз. Заказ №
«БХВ-Петербург», 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., 20.

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12/28

ISBN 978-5-9775-3296-9

© Оскотский З. Г., 2014
© Оформление, издательство «БХВ-Петербург», 2014

К ЧИТАТЕЛЯМ

Захара Оскотского современные читатели знают главным образом как историка, публициста, футуролога и автора остро-сюжетных романов-антиутопий. Но ведь прежде всего он писатель-прозаик, реалист. В 1980-е — начале 1990-х его рассказы публиковались в сборниках ленинградских писателей и в одном из лучших литературных журналов того времени — «Неве» главного редактора Бориса Никольского.

Именно в 1980-х Захар Оскотский начал работу и над этой книгой — романом «Зимний скорый». Но писал он его более 20 лет. Так случилось потому, что безвременье, в которое ныне провалилась Россия, утрата нашим обществом перспективы не могли оставить писателя равнодушным. И он периодически откладывал, порой на годы, незаконченный роман, чтобы написать произведения, в которых откликался на текущие проблемы.

Так появилась его «Гуманная пуля» — книга о влиянии научно-технического прогресса на ход истории, о цели науки, о ее роли в главных событиях XX века и в грядущих событиях XXI века. Некоторые мысли, высказанные в «Гуманной пуле», — о демографическом переходе, как основной причине мировой нестабильности, о бессмертии, как цели научно-технического прогресса, и другие — лишь теперь начинают входить в общественное сознание.

Ближние прогнозы «Гуманной пули» о развитии мировых и российских событий стали сбываться вскоре после выхода в свет ее первого издания (оно появилось в начале 2001 года). А десятилетие спустя мы видим, как растет вероятность того, что сбудутся и ее дальнейшие прогнозы: о путях разрешения конфликта между Западом и Югом; о том, что успехи науки по продлению человеческой жизни ведут к главному кризису цивилизации, угрожающему самому ее существованию.

Чтобы донести некоторые мысли из «Гуманной пули» до более широкого круга читателей, Захар Оскотский в 2000—2004 годах написал остросюжетную антиутопию — роман «Последняя башня Трои», действие которого происходит в конце XXI века. Критик Ольга Костюкова из журнала «Профиль» писала, что «Последняя башня Трои» может встать в один ряд с антиутопиями Оруэлла и Войновича, а критик Сергей Некрасов из журнала научной фантастики «Если» отвел этому роману место рядом с произведениями Уэллса, Лема и Стругацких.

Недавно вышел еще один роман-антиутопия Захара Оскотского «Утренний, розовый век. Россия-2024». В отличие от «Последней башни Трои», он написан с минимальным использованием элементов фантастики, тяготеет к психологическому реализму. Даже тогда, когда дело доходит до немислимой фантазмагии, в нее героя вместе со всей страной заносит потоком вполне возможных для нас событий. Роман убедительно показывает, какое будущее ждет Россию без интеллигенции, без собственной науки и промышленности.

В последние годы выходили также исторические очерки, эссе и публицистические статьи Захара Оскотского, которые предлагают нестандартный, идущий вразрез со многими традиционными мифами, взгляд на ключевые моменты истории и современной политики.

И вот сейчас выходит — сразу в двух вариантах, типографском и электронном, — роман «Зимний скорый. Хрони-

ка советской эпохи». Эта книга — своего рода реквием поколению, родившемуся после войны, последнему многочисленному и самому образованному советскому поколению. Его талант и энергия могли преобразовать страну, обогатить ее, поднять на уровень самой передовой державы мира. Но бюрократическая система не позволила этому поколению реализовать свои возможности, и следствием стало то, что случилось с нашей страной теперь.

Некоторым читателям, особенно молодым, которые привыкли не искать в жизни смысла иного, чем добывание материальных благ, характеры и поведение героев книги могут порой показаться наивными. Но ведь то была мудрая наивность! Если не бояться высоких слов, можно сказать, что так проявлялся инстинкт самосохранения нашего народа.

«Зимний скорый», казалось бы, можно отнести к историческому жанру, поскольку его персонажи действуют среди точно воспроизведенных реалий 1950-х — 1980-х, а главный герой еще и пишет новеллу о событиях XVII века, на примере которых пытается исследовать непреходящие проблемы человеческой жизни. Но в действительности этот роман обращен не столько в минувшее, сколько в современность и будущее.

Многие наши сегодняшние проблемы коренятся в недавнем прошлом, происходят от того, что мы не помним уроков недавних времен.

Интерес к советской жизни сейчас очень велик, появляется множество книг, претендующих на то, чтобы их считали историческими исследованиями, выходят романы, фильмы, телесериалы. К сожалению, многие, слишком многие из них относятся к жанру «развесистой клюквы», а зачастую — являются прямым искажением правды, которое, возможно, не случайно. Вспоминается Оруэлл: «Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. А кто управляет прошлым, управляет будущим».

В романе «Зимний скорый» читатель найдет ту правду о недавнем времени, которая поможет лучше понять на-

стоящее и осознанно действовать ради будущего. Как писал Леонид Андреев: «Чтобы идти вперед, чаще оглядывайтесь назад, ибо иначе вы забудете, откуда вы вышли и куда нужно вам идти».

Не стану здесь подробно обсуждать литературное мастерство Захара Оскотского. Скажу только, что «Зимний скорый», при всей легкости и увлекательности чтения, — это напряженная, глубокая психологическая проза, которая так редко сейчас появляется. И читатель, который любит настоящую литературу, сам убедится в этом.

Ирина Борисова, литератор

**Зимний скорый.
Хроника советской
ЭПОХИ**

РОМАН

— ...Я не разбираюсь в религиях и, может быть, ничего нового не придумал. Ты случайно не знаешь, существовала когда-нибудь вера в бога слабого, бога-неудачника?

— Подобной религии я не знаю. Такая никогда не была нужна. Если я правильно тебя понял, ты думаешь о каком-то эволюционирующем боге, который развивается во времени, возносясь на всё более высокий уровень могущества, дорастая до сознания собственного бессилия? Но ведь отчаявшийся бог — это же человек, дорогой мой! Ты имеешь в виду человека...

Станислав Лем

— 1 —

Аэропорт днем, Пулковский аэропорт, нарочито современный, тянущийся к небу прозрачными космическими башенками, сверкающий внутри мрамором, стеклом, никелем, заполненный шумной текучей толпой, вязнущей сгустками у касс и киосков, этот дневной аэропорт не нравился Григорьеву. Было в нем нечто от ресторана. Может быть, сходство усиливали ряды ящичков с цветочными горшками. Но к вечеру, к ночи, когда темнело за высокими стеклянными стенами, аэропорт становился другим. В искусственном белоголубом свете мраморные полы обретали блеск и глубину, словно отражали ночное небо. Ярче разгорались на табло красноватые огоньки надписей с номерами и названиями рейсов. Толпа становилась медлительней, тише, и как будто от этого слышней доносился гром двигателей — то недвижимый на летном поле, то накатывающийся с неба.

В командировках Григорьев избегал ездить, почти всегда летал. Приверженность его авиации доходила, быть может, до чудачеств: от областных центров, куда приносили его рейсовые «Ту», к цели своей, к маленьким городам с большими заводами, не желал он добираться как все люди — за три-четыре часа в мягком автобусе. А добирался тоже по воздуху — валким, грохочущим, продутым бензиновыми сквозняками, выматывающим за час полета душу и печенки бипланчиком «Ан-2». Когда же осенью и весной пассажирские аэродромы в маленьких городах — поля с подстриженной травкой — закрывались, размокшие от дождей, он томился с книгой, вдавленный в кресло «Икаруса-экспресса». И не времени было жаль ему, а иного, того, что мог дать только полет. Пусть даже «аннушкин», птичий, проваливающийся.

Он скрывал бы свою чудную страсть, но за командировки приходилось отчитываться в бухгалтерии, его выдавали билеты, над ним посмеивались. «Печоринство! — сказала однажды Аля со злости. — Ты просто подсознательно надеешься когда-нибудь разбиться!» Григорьев разбиваться не собирался, но фразу взял себе, да так и отвечал с тех пор на глупые вопросы и шуточки. От него отставали.

Вот и сегодня, снова, был Пулковский аэропорт вечером, сухим и теплым октябрьским вечером 1984 года. Григорьев уже прошел регистрацию, получил посадочный талон. И домой позвонил. Трубку отец взял сам. Сказал, что лежит, читает. Болей нет. Может быть, завтра выйдут с матерью на улицу. Значит, можно лететь...

До объявления посадки оставалось минут сорок. Григорьев прохаживался взад-вперед, пробегая взглядом по лицам: сейчас должна была появиться Аля. Каждый раз, улетая, просил ее, чтобы не провожала, но она появлялась всегда, даже тогда, когда обещала, что не появится.

Несколько шагов туда, вдоль стеклянной стены, потом — обратно. На улице уже стемнело. Разворачиваясь, увидел свое отражение в стекле. Вот он — Евгений Григорьев, собственной персоной. Выглядит, пожалуй, старше своих тридцати семи: не столько высок, сколько кажется высоким от

худощавости; большая, не по узким плечам голова; глаза — большие, но слишком широко расставлены, и вид от этого не то настороженный, не то удивленный. А волосы уже редуют, над выпуклым лбом — залысины буквой «М». Впрочем, он выглядел так уже давно, лет десять не менялся. Наступило «состояние стабильности», как он это называл. Аля была моложе его на тринадцать лет. Плохая, никудышная цифра... Состояние стабильности продлится, должно быть, еще лет пять-семь, возможно, десять, а потом он начнет стареть — сразу, быстро. Григорьев отвернулся от стекла. Думать о старости он избегал, а внешность его мало заботила.

В состоянии стабильности жизнь не приносит неожиданностей. Она делится на куски, блоки, и в начале каждого блока видишь его до конца, а там уже просвечивает следующий. Сейчас будет обычное перед расставаньем объяснение с Алей. (Плохо, что опять не выспался. Голова тяжелая, болят виски, не сумеет с нужной легкостью парировать ее уколы.) Потом будет ночной полет: голубоватый полусвет в салоне, сквозняки от вентиляции. Словно в затылке будут постанывать и клокотать хвостовые турбины, перемалывая разреженный воздух стратосферы. Будет казаться, что лайнер не летит, а медленно плывет по темному, вязкому морю, слегка содрогаясь от ударов брюхом о гребешки волн.

Он летел в свой привычный мир — маленьких городов и больших заводов. Через несколько часов лайнер начнет мягко проваливаться, отдавая высоту, и сойдет Григорьев с трапа уже далеко отсюда — в Сибири. Бетонные пластыри аэродромов сдавили землю, пространство стянулось, прошитое иглами самолетов. Словно из двери в дверь, переходил он через тысячи километров из одного цеха или кабинета в другой, как будто соседний цех или кабинет, и ничто не изменялось: те же стены в бледно-зеленой эмалевой окраске, тот же обнаженный, тусклый металл станков. Крыльчатки вентиляторов, беззвучные в цеховом гуле, так же перемалывали сладковатый запах машинной осалки с резью растворителей и свежим канифольным дымком пайки. Да и люди, населявшие мир дальних заводов, — мастера, технологи, он сам вместе с ними, — какими бы разными ни были, оказы-

вались схожими в одинаковых рабочих халатах, при свете цеховых ламп, который и в самой яркости кажется бледным, от которого лица видятся темными — не загорелыми, а словно накрытыми синеватой тенью.

Еще несколько шагов вдоль стеклянной стены: туда, затем — обратно. Хотелось курить, но для этого надо было выйти на внешнюю галерею, а он боялся пропустить Алю. Она бы такого не простила.

У окошечек регистрации скапливались двойные очереди — людей и вещей: чемоданы, узлы, рюкзаки, картонные коробки, перехваченные веревками и ремнями, окаймляли барьерами людские цепочки и в бело-голубом свете, в недалеких раскатах двигателей тоже казались живыми, нервно-напряженными в ожидании взлета.

Григорьев перебрал из руки в руку свой нетяжелый портфель. Слава богу, у него никогда не было забот с багажом: зубная щетка, бритва, смена белья, да в папке со служебными документами — несколько листов начатой рукописи. Когда теперь он ею займется? Блоки следующих дней просвечивают насквозь, до темной усталости в конце каждого. С утра — проталкивать по кабинетам заводоуправления бумаги на опытную партию приборов: решение, техпроцесс, программу испытаний. В вечерние смены, когда свободнее в цехах, — подбирать и налаживать оснастку. Это потом, если пойдет, раскрутится работа, сможет он вечерами разложить свои листы. Да если еще в заводской гостинице удачно поселят: в отдельный номер или хоть с хорошими соседями. Такими, что лишний раз не пристанут с разговорами и не будут, любопытствуя, заглядывать через плечо.

Туда и обратно вдоль стеклянной стены. Али — не было. Вспомнил, как позавчера вытащил из почтового ящика конверт со штампом редакции — вернули «Белёсый свет». Казалось, уж к чему, а к отказам он привык, ничем его не задеть, неуязвим. А тут вдруг ударило — больно и унижительно, словно изловчились его лягнуть ниже пояса.

Конечно, ни одно стихотворение, ни один рассказ не писал он так долго, как эту сотню нерифмованных строчек.

Лет десять, с семьдесят четвертого. А в сущности, все двадцать с лишним лет после дней «белёсого света». То откладывал на время, то вновь начинал шлифовать, подбирать строку к строке — где вспомнится вдруг и схватит дыхание: в гуле и болтанке самолетов, в ночных номерах гостиниц под храп соседей.

Двадцать с лишним лет... У него была хорошая память. Не бог весть, какой дар природы. Но есть иллюзия могущества над временем, когда прошлое видится, как в перевернутом бинокле, — отдаленно, но резко, в красках, обостренных оптикой завершенности.

Стоял октябрь, безветренный, сухой.
Угли опавших листьев, как огонь,
Сквозь землю проступавший, раскаляли
Газоны скверов, камни в переулках...

Так начинался «Белёсый свет». А стоял тогда октябрь 1962 года. Наполз, надвинулся и встал над миром. Конец октября. Карибский кризис. Радио задышалось. Морская блокада Кубы. В повышенную боеготовность приведены американские и советские стратегические силы. Прерывая передачи, дикторы незнакомыми голосами читали послания Хрущева к Кеннеди. Россия звала к примирению. Потом объявили о высшей боеготовности.

В школе всё было почти как всегда. Только лица учителей стали напряженнее и голоса тише. Только сами они, подростки с едва пробившимися усиками, успевшие чуть-чуть набрать старшекласной солидности и снисходительности ко всему, что моложе и старше их неполных шестнадцати лет, собираясь вместе, впадали в какое-то неестественное возбуждение. Они с трудом высиживали урок, а на переменах, говоря о войне, вышучивали над ней, смеялись, шумели и выкрикивались, точно второкласники, до изнеможения. И не останавливали их педагоги, лишь наблюдали издали...

А после занятий Григорьев выходил в странный город. Это был как будто его Ленинград в осеннюю пору красок, когда петербургские дома, налитые светло-серым и розова-

тым каменным теплом и подсвеченные красно-желтыми листьями, резче проступают сквозь черные деревья скверов. Буднично катились потоки машин. Гроыхали, покачиваясь, красно-белые угловатые старички-трамваи со сдвижными, вечно не закрывающимися деревянными дверями, пережившие войну и блокаду, родные для мальчишки-ленинградца. Но Григорьев ощущал движения и шум города странно замедленными, словно всё двигалось затрудненно в невидимом силовом поле напряжения и тревоги. Ветра не было. Разреженным казался воздух, неспособный стуснуться, защитить от атомных метеоритов, и в нем трудно было дышать.

Он почти не испытывал страха — в шестнадцать лет смерти не боялся. Мучило неясное, то, что он начал осознавать много спустя: если для ребенка мир всегда устроен разумно, а взросление — познание неразумности мира, то не было в его жизни других дней столь быстрого и болезненного взросления.

Дети первых послевоенных лет рождения, дети чудом уцелевших отцов и прошедших блокаду и эвакуацию матерей, они ощущали себя особенным поколением. Когда это впиталось в их души? Должно быть, с малолетства, из кухонного чада переполненных коммунальных квартир, где в каждой комнате улыбались с нерезко увеличенных фотографий молодые лица — убитых на фронте, умерших с голода в блокаду. Пяти-шестилетние, они уже чувствовали за собой черный провал времени и сознавали, что растут на краю обрыва первыми росточками.

Кинофильмы и песни, безногие инвалиды, яростно прокачивавшиеся по улицам на гремучих тележках с подшипниками-колесиками, фронтовые вещи отца (брезентовая плащ-палатка, солдатский ремень, сапоги), портреты усыпанных орденами маршалов в альманахах «Круглый год» — всё дышало медленно остывающим жаром войны. И они, малыши, торопливо переживали войну в своих играх. Накрытые толем поленницы в темноватых дворах-колодцах с неизбывным запахом помойки были их окопами и дотами. Ленинград жил еще на печном отоплении, поленниц хватало. Они обороняли

их и штурмовали, отчаянные бойцы — в синяках, занозах, древесной трухе. Война представлялась им такой, какую они видели в «Падении Берлина»: веселые солдаты бегут в атаку, выставив автоматы с круглыми дисками.

Тогда, в начале пятидесятых, в центре города стояло почему-то много войск, и мимо их домов — по проспекту Майорова, через Исаакиевскую площадь — часто проходили колонны солдат. Странно, должно быть, они выглядели — вооруженные, в защитных гимнастерках и пилотках, на выметенном дворниками асфальте среди витрин «Гастрономов» с пирамидами разноцветных консервных банок и витрин «Ленодежды», где, растопырив руки, стыли манекены в длиннопольных пиджаках и длинных платях. Но для детей всё было естественным. Они с тротуаров жадно разглядывали оружие. Автоматы с прикладами и дисками считались у них «нашими», а складные, с узкими рожками магазинов — «немецкими». Им казалось, что солдаты эти идут из войны, и на груди у них в самом деле захваченные у фашистов автоматы.

С утра до вечера в их комнатах говорило, играло, пело радио. Дикторы и артисты, сменяя друг друга, рассказывали о великих стройках коммунизма — Волго-Доне и Каракумском канале. Плескались волны в радиопостановках — волны вокруг нового мыса Тахиаташ в пустынных песках. Каждый день торжественно сообщали, как в разных странах множит ряды могучее Движение сторонников мира. Гремели хоры: «Мы сильны, берегись, поджигатель войны!» и «Песню дружбы запевают молодежь!» И были любимые, неделями ожидаемые передачи с позывными-песенками. Галочка, Дедушка и Боря пели: «Угадайка, Угадайка, интересная игра!.. Кто загадки любит, тот нас и услышит! Кто их отгадает, тот нам и напишет!» И герои «Клуба знаменитых капитанов» пели: «В шорохе мышинном, в скрипе половиц медленно и чинно сходим со страниц...»

В детском саду они учили стихи о «светлой сталинской эре» и стихи, проклинавшие Трумэна. С уличных плакатов скалил на них волчьи клыки звероподобный Дядя Сэм: с окровавленным кинжалом в одной руке и голубым флажком с надписью «ООН» в другой, он набрасывался на ма-

ленькую Корею. За поясом у него торчала черная бомба с белой буквой «А».

Впрочем, их еще не слишком задевали мировые тревоги. Они читали добрые книжки — «Лесную газету», «Что я видел». Их группы водили гулять в Александровский сад к Адмиралтейству. Летящий Медный всадник, Нева, поднебесная громада Исаакиевского собора с золотым куполом были для них домашними. Весь город тех лет — с малолюдством площадей, редким автомобильным движением, с вывесками магазинчиков и мастерских в первых этажах и над полуподвалами царственных зданий — «Овощи», «Хозтовары», «Фото», «Ремонт обуви» — был уютным, своим.

А каким счастьем были семейные праздники! Гости приносили свои пластинки к хозяйскому патефону. Из никелированной головки с толстой стальной иглой, покачивавшейся на черном диске, звучали то приторно-нежный голосок Бунчикова, то смешливый — Шульженко. На стол подавали в разномастных тарелках довоенных сервизов винегрет и картошку с селедкой. А главное, для них, для малышей, — ставили бутылки лимонада. Ах, этот лимонад, «Крем-сода» и «Лимонный», острошипучий, обжигающе-сладкий! До старости не забыть его вкус. Куда он исчез потом?..

В «Детском мире» на Садовой, где на лестничных площадках висели громадные фотографии Сталина и Горького в окружении детей, и в «Магазине новинок» на Невском выставляли удивительные игрушки: автомобильчики «ЗИМ», управляемые гибким тросиком, электрическую железную дорогу с бегущими вагончиками и горящими светофорами. Не продавали, — кто же их купит за двести, за триста рублей! — а именно выставляли, чтобы они могли посмотреть. И они — смотрели.

Потом в их детство вплыл трагический голос Левитана: «Великое горе для всего советского народа!..» Рев гудков над крышами колеблющихся зданий, смятенные лица, слезы. Казалось, время останавливается.

Но — не остановилось. Переплеснуло черные жирные рамки в газетах и полилось живым потоком дальше. Из репродукторов зазвенели новые песни: «Вьется дорога длин-

ная! Здравствуй, земля целинная!» Они пошли в первый класс в пятьдесят четвертом, когда мужские школы объединили с женскими. И с учебой началось главное:

Всё то, что мы впервые узнавали,
Впервые с нами вместе узнавая,
Страна переживала. Мы как будто
Взрослели вровень с ней...

А переживалось — необыкновенное! Первоклашками в чистенькой форме, постукивая вставочками в чернильницы, они переписали с доски в свою первую тетрадку главные слова: «Родина», «Владимир Ильич Ленин», «Иосиф Виссарионович Сталин». А второклассниками они видели, как школьный завхоз Иван Николаевич, хмурясь, подхватывая рамы искаленной рукой в черной перчатке, сносил из классов по лестнице портреты Сталина и составлял у подвальной кладовки лицом к стене. На изнанке одного портрета кто-то из них успел уже мелом написать «дурак». Иван Николаевич здоровой рукой яростно стер надпись, размазав по бурому холсту пятно меловой пыли, и побежал за следующим портретом.

Впрочем, они еще смутно понимали смысл событий. Их захватывало другое — технические чудеса. Первым знаком времени стали для них реактивные истребители. Когда на уроках рисования задавали изобразить самолет, они пытались вычертить волнованный их воображение контур: короткая, обрубленная спереди сигара фюзеляжа, колпак кабины, узкие, откиннутые назад крылья и высокий, скошенный хвост. В самих засекреченных названиях — «МИГ-15», «МИГ-17», — которые они, конечно, знали, им слышались отзвуки новых, необыкновенных скоростей и высот.

Реактивные «МИГи» были символом мощи страны на газетных фотографиях и плакатах. Они видели их в кино — раз за разом взлетающими с аэродрома в заставках киножурналов. Видели кувыркающимися в высшем пилотаже в фильме «Звезды на крыльях» с ослепительным молодым летчиком — артистом Тихоновым (сколько раз крутили тот

фильм в затемненных дощатых столовках пионерских лагерей!). Они видели их наяву над теми же лагерями. Много «МИГов» летало тогда вокруг Ленинграда — над Финским заливом, над рощами Карельского перешейка. В одиночку, парами и четверками, то высоко, то совсем низко над детскими головами, так что можно было разглядеть прозрачную капельку кабины впереди и перышки рулей на хвосте, неслись серебряные стрелы, выпущенные в облака. Небо дрожало, воздух за ними обрушивался пластами свистящего грохота, и земля уходила из-под ног.

В городе открылось метро. В первое же воскресенье чуть не все три миллиона ленинградцев и, конечно, они вместе с родителями — ринулись под землю. Вываливались из битком набитых вагонов на очередной станции, бродили по ней в толпе, жадно осматривали, восхищались и снова втискивались в поезд — доехать до следующей. Детей и взрослых объединило ощущение драгоценного подарка, чуда. Цепочка подземных дворцов казалась ожерельем из разноцветных сверкающих бусин, нанизанных на пульсирующую огнями жилку тоннеля. И всё теперь принадлежало им — полированный гранит, белый и голубоватый дымчатый мрамор, хрусталь и рубиновое стекло, бронза и зеркальный никель украшений. А ведь открылась только первая линия! Сколько же еще дворцов засияет под всем городом, пока они вырастут!

В их жизни стали появляться телевизоры: экранчики с открытку и перед ними — стеклянные подушки-линзы, налитые водой, а лучше, говорили, глицерином. Передачи шли с семи до десяти вечера, шесть раз в неделю. В комнату к соседу, первым купившему телевизор, собирались все, кто не был с ним в кухонной ссоре. Показывали кинохронику, научно-популярные передачи, кинофильмы. Художественных было немного, часто повторяли одни и те же. Почему-то особенно любили телевизионщики жуткую кинокартину «Серебристая пыль» о поджигателях бактериологической войны. Ее крутили чуть не каждый месяц.

Улыбались с экранчика два самых знаменитых в Ленинграде человека, ведущие телестудии: Николай Зименко, стройный, элегантный, с седыми висками, и полненькая, смешли-

вая Зинаида Зубова. Программу они объявляли, как конференсье, стоя на фоне нарисованного театрального занавеса. К ним относились, как к всеобщим приятелям. Однажды вечером Зименко объявил: «А сейчас вы увидите кинокартину "Золотистая пыль"!» Взрослые и дети перед телевизором хором завопили: «Серебристая, дядя Коля!» Зименко, точно услышав их на экранчике, поморщился, засмеялся, махнул рукой: «Серебристая... пыль!» И все добродушно, даже с благодарностью посмеивались над ошибкой своего любимца. А симпатичные ямочки на щеках Зубовой умиляли всех, особенно почему-то женщин.

Восьми-девятилетние мальчишки, они больше всего любили научно-популярные передачи и кинохронику. Зеленоватый экранчик, сам чудо, светился окошечком в ожидающий их мир. Они видели строительство гигантских электростанций в тайге, круглые палатки ученых на станции «Северный полюс», китобойные флотилии в штормовом океане, толпы пингвинов, расступавшихся перед тракторами антарктической экспедиции.

Время напоминало о себе: вдруг жутко взглядывало с экранчика дуло атомной пушки. Восьмимоторные бомбардировщики с белыми звездами плыли в разреженной высоте вдоль наших границ, их громадные крылья прогибались от тяжести фюзеляжей, нагруженных водородными бомбами. Над тихоокеанскими пальмами с громом поднимался в небо клубящийся огненный гриб. Пожилой человек в старомодном котелке смеялся, открывая большие зубы. Голос диктора сурово спрашивал: «Вы довольны, мистер Даллес?..» И вновь под спокойную музыку научно-популярного фильма бегали по рисунку мультипликационные стрелочки, объясняя устройство советской, мирной атомной электростанции.

Им попадались еще в библиотеках угрюмые книжки недавних лет с названиями вроде «Рассказы о русском первенстве», с паровозиком Черепановых, воздушным шаром Крякутного и самолетом Можайского на обложке. С непонятной им, детям, но даже для них ощутимой злобой, страницы твердили, что все, все, все великие изобретения сделаны в России, а если забыты, так потому, что тупое царское пра-

вительство не оценило, а коварные иностранцы выкрали и выдали за свое. Но вот на экранчике появлялся действительно первый в мире советский атомный ледокол «Ленин» на стапеле. Взлетал в небо действительно необыкновенный самолет — «Ту-104». И в живых голосах дикторов, рассказывавших, как мы обогнали всех капиталистов, звучала не злоба, а веселая уверенность.

Смеялись на экранчике обнявшиеся советские и иностранные спортсмены, победители олимпиад в Кортина д'Ампеццо и Мельбурне. Двигались поющие колонны Московского молодежного фестиваля. Стремительно расширился мир.

Часто показывали запуски ракет — маленьких настоящих и громадных в фантастических фильмах. Они впервые услышали о Циолковском и межпланетных полетах.

Они много читали (полны, богаты были библиотеки). Больше всего, с жадностью — фантастику. Жюль Верн, Беляев, Ефремов, Уэллс разжигали мальчишеское воображение. А были еще приключения — Майн Рид, Конан Дойль, Хаггард, Буссенар. Почти все книги, особенно иностранных писателей, изданы были только что: в пятьдесят шестом, пятьдесят седьмом. (Через много лет вспомнится и запоздало изумит: как их успевали печатать?)

Каждая новая фантастическая книжка протекала сквозь всю мальчишескую массу мгновенно, как вода сквозь песок. «Двести двадцать дней на звездолете» — там наши пилоты раньше американцев высаживались на Марсе. «Тайна астероида 117-03» — там советские ученые вступали в космосе в схватку с «луианами», пришельцами с другой звезды, во всем похожими на людей, но с руками без суставов, точно толстые гибкие щупальца.

А в киосках «Союзпечати» продавали восхитительные копеечные брошюрки, в ярких обложках, с понятными чертежами и рисунками: «Как устроен реактивный самолет», «Что такое Вселенная», «Энергия атома». Чуть не каждую неделю появлялись новые. Их раскупали мигом. Словно вся страна, жившая в тесноте и бедности, тяжело отработавшая шестидневные сорокавосемичасовые недели, тянулась к тем брошюркам-букварям — познакомиться с новым веком, что вот-вот наступит и, глядишь, принесет новую жизнь.

Они-то, мальчишки, не сознавали бедности и тесноты. Для них реальность еще смешивалась с цветной иллюзией любимых кинокомедий, вроде «Карнавальная ночь» или «Девушки без адреса». Хотя деньги на брошюры он стеснялся просить у родителей, копил по гривеннику от школьных завтраков. Отец, узнавая, гремел: «Опять постился, дурень! Дам я тебе рубль на эту дребедень, только голодным не ходи! Как будто понимаешь в них что-то!» И пролистывал, хмурясь и усмехаясь, странички с чертежиками.

Отец казался ему пожилым. Теперь только видно сквозь время, как был молод, — еще сорока не стукнуло, ровесник ему нынешнему. С работы отец приходил до того усталый, что даже отвечал с трудом. Но, поужинав, отдышавшись, понемногу становился привычным — громкоголосым, иногда впоказную сердитым, веселым, любимым. Должность его — «старший мастер» — звучала почетным званием.

Запуска первых спутников они, десятилетние, ожидали, и тем сильнее был взрыв ликования. Перелившись из книг и фильмов в голос Левитана, в газетные фотографии, всё оказалось еще чудесней! Всё шло еще стремительней, чем они мечтали! Первый спутник весил восемьдесят килограммов, второй, через месяц, — уже пятьсот, третий, через полгода, — почти полторы тонны. Еще через год советская ракета облетела Луну, и они вырезали из газет — сохранить, навсегда! — карту впервые заснятой обратной стороны.

Первенство наше в космосе было для них естественным. Их смешили карикатуры, где тощий американец в мятой фуражке забрасывал вслед советским тяжеловесам свой жалкий спутник величиной с апельсин.

В тех же газетах печатали карикатуры и на своих стияг с начесанными громадными коками волос, в брюках-дудочках, узких словно макаронины. В жизни им такие не встречались, но всё равно было смешно. И от старшеклассников спускались к ним нелепые, дразнящие песенки:

Раз стиягу хоронили,
Семь чувих за гробом шли.
На могиле саксы были,
Рок ломали до зари...

Как раз в том возрасте, в двенадцать-тринадцать лет, они начали осознавать свой Ленинград. В каменной стройности города впервые уловили напряженное движение. Ощутили стремительность главных улиц, выносящих к Неве, туда, где, виденный много раз, их наконец поразила простор воды и неба в обрамлении набережных. Где с течением волн и полетом облаков стройно плыли по берегам дома и дворцы, колонны, шпили, купола, плыли острова и мосты. Столица России молодой, продвинутая на самый край державы, чтоб увлечь ее за собою, двигалась сквозь время, не старея.

Они полюбили бродить по городу, изучать, словно путешественники, его районы. А каждый район был страной, непохожей на соседние. Башенки и скверики Петроградской стороны теснились уютно и приветливо. В резковатых контурах василеостровских линий сквозило их родство с корабельными конструкциями. Московский проспект, удаляясь от центра, всё выше тянулся в небо угловатыми громадами «сталинских» домов-дворцов.

Для них настала пора музеев. Вначале, конечно, был Военно-морской. Сколько раз приезжали они на ветреную Стрелку Васильевского острова, форштевнем рассекающую течение Невы, проходили мимо Ростральных колонн, похожих на облепленные надстройками и мостиками мачты линкора, и, волнуясь, вступали в глубины дворца, странно называемого «Биржей»!

Им открывался громадный зал Русского флота с ботиком Петра и великанскими, с яхту величиной, моделями стопушечных линейных кораблей в многоярусных парусах из белого блестящего шелка. Черно-лаковые цусимские броненосцы и серо-голубые крейсера в стеклянных ящиках поражали точностью мелких деталей, золотым блеском латунных гребных винтов.

А потом они полюбили каменную прохладу длинных залов Артиллерийского музея: бесконечные ряды орудий, витрины с оружием вдоль стен, волнующая тусклая гладкость боевой стали.

В этих музеях история ощущалась нарастающей мелодией: вначале — славная, хоть и несколько неуклюжая, допет-

ровская старина, а дальше, от основания Петербурга, — через яркий восемнадцатый век, через паровой и железный девятнадцатый — к революционной буре. И тут время в залах начинало растягиваться: героическая эпоха Гражданской войны, радостное двадцатилетие мирного строительства с двадцать первого по сороковой, черная гроза войны, алая, в знаменах, Победа. И, наконец, светлые — буквально самые светлые, точно для них подобрали помещения с окнами побольше, — «послевоенные» залы. Модельки серебристых «МИГов» под потолком, таинственные, без поясняющих табличек, длинные тела ракет, фотографии обломков сбитого самолета-шпиона «У-2» и его летчика Пауэрса. И, конечно, большие фотографии спутников.

В дни майских и ноябрьских праздников в Неву входили боевые корабли. Вытянутый, легкий, с изящно скошенными трубами крейсер «Киров», легендарный защитник блокадного Ленинграда, словно явившийся из «военных» залов музея. И высокобортный, тяжелый, в какой-то особенно светлой голубой окраске, крейсер «Свердлов» — из «послевоенного» зала. И оттуда же — овальные рыбы тела новых подводных лодок. Они стояли вдоль невских набережных, украшенные гирляндами разноцветных флажков, торжественные, гордые, трогательно свои.

А эпоха, казалось, становится старше вместе с ними и мощно распахивает новое, как только они способны его воспринять. Им было по четырнадцать-пятнадцать в шестьдесят первом. Весь тот год ликующе звучал по радио Первый концерт Чайковского. Взлет человека в космос и Двадцать второй съезд слились с его аккордами.

Мальчишеские души были потрясены рассказом Хрущева о культуре личности. Они, подростки, кое-что знали о Двадцатом съезде, но он казался им далеким прошлым, а с тех пор имени Сталина они почти не слышали. И вдруг, с трибуны нового съезда, не в секретном докладе, а открыто, уже на весь мир — что-то непредставимое, прожигающее. Как убивали невиновных, слепо веривших. Как Якир на расстреле крикнул: «Да здравствует Сталин!..» На мосту времени точно

ветром сметало позади пестрые гирлянды бумажных цветов и флажков, балки и фермы обнажались — в бородавках заклепок, облупившейся краске, ржавчине, засохшей крови, — и, дотягиваясь до новых дней, железом крепили под ногами.

А за окнами — громадные полотнища плакатов и транспарантов, закрывшие фасады, чуть колыхались на туго натянутых тросах. На многих повторялась диаграмма: цифры вниз «1913 — 1940 — 1960 — 1980» и взбегающая всё выше яркая полоса — производство стали, нефти, электроэнергии. Над последней датой она взмывала ввысь, как ракета. Белыми и золотыми буквами на красной материи: «Первая программа партии — выполнена. Вторая — выполнена. Третья — будет выполнена!», «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

Должно быть, только теперь они по-настоящему осознали себя избранным поколением. Сама история сберегла их от войны, от неправды и первыми предназначила для будущего. Они жили в тех же коммунальных квартирах, а то и в полуподвалах, их школьная форма из дешевой фланельки, утвержденная в былые еще времена, походила на солдатские гимнастерки, и лишь немногим из них в девятом классе родители могли купить часы. Но им дышалось легко, время было их временем.

Возвращались прекрасные имена уничтоженных. Выходили непредставимые еще год назад стихи, повести, фильмы — и пронзительное «Чистое небо», и «Человек-амфибия» с голубыми красками подводных съемок и песенками про «морского дьявола». Гагарин и Титов улыбались с фотографий за ветровыми стеклами автомашин. Невероятное вливалось в жизнь, быстро становилось привычным. Всё это было для них, и торжеству, казалось, не будет конца.

На уроках им задавали сочинения: «Какой я представляю цель жизни после построения коммунизма». Они задумывались: в самом деле, когда наступит коммунизм, они будут еще молоды. За какие высокие цели бороться тогда, ведь успокоение невозможно? И они находили ответ: при коммунизме всеобщей целью и смыслом жизни станет наука, познание безграничной, бесконечной Вселенной.

В фантастических книгах, которые они теперь читали, путешествовали уже не к Марсу и астероидам, а к звездам на фотонных ракетах, проносились в считанные годы сквозь световые столетия. Они верили, что доживут до этих полетов. Еще не вступив в жизнь, они чувствовали себя всемогущими.

И вдруг — этот октябрь шестьдесят второго. Разреженный воздух. Бескровное чувство бессмысленности... Он выходил на Неву. Приваливался к шершавому, холодящему руки граниту набережной, — подросток в стареньком, длинном пальто и кепке, показавшийся бы пугалом девятиклассникам нынешних восьмидесятых с их джинсами, курточками, вязаными шапочками.

Что же теперь будет?.. Сколько раз потом, когда сдвигались глыбы обстоятельств, — изредка с грохотом обвала, чаще беззвучно и давяще, — наблюдал он у других (и у себя) этот мгновенный переход к придавленному ожиданию: ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ БУДЕТ?! Много раз потом. В те дни — впервые...

Он думал о посланиях Хрущева, так не похожих на обычный хрущевский уверенный и насмешливый тон. В них чудилось что-то заискивающее, вызывавшее даже досаду (зачем же так перед врагом?), и была какая-то высшая мудрость: что угодно, только не война!

Хрущев был для Григорьева великим человеком. Всё обновление страны, казалось, движется энергией его одного — крутоголового, с ехидным мужицким лицом. Григорьеву нравилось читать в газетах его огромные речи, густо пересыпанные пометками «веселое оживление» и «смех в зале». И даже в том, что многие Хрущева не любили, рассказывали о нем ядовитые анекдоты, даже в этом был новый воздух — освобожденности, небоязни.

А беспрестанные полеты Хрущева по свету! В каких он только странах не бывал и не выступал, с кем не фотографировался! Всё — для взаимопонимания, для мира. Как же мог Хрущев, великий борец за мир, допустить то, что случилось? Откуда у него, грозившего на любой удар ответить уничтожающим ударом, эта растерянность?

Всего две недели назад утверждали, что на Кубе нет наших ракет. В «Правде» напечатали фотографию: музыканты, прилетевшие из Москвы в Гавану, с контрабасами в руках хохочут над американской газетой. Та объявила их оркестр военным соединением. Теперь оказывается, ракеты были привезены... Зачем же это скрывали? От кого? Выходит, только от своих? Почему Хрущев, такой откровенный с народом, не сказал прямо: «Нас окружили базами, и мы в ответ поставили ракеты у их берегов. Так нужно!»?

(Имени Хрущева, конечно, не было в стихотворных строчках, не собирался он сейчас, в восемьдесят четвертом, дразнить редакторов. Но была в них невероятность того далекого дня — будничного осеннего дня и «высшей боеготовности», точно рубильником включенной в нервы.)

Осматриваясь, он шел вдоль Невы. Дома и дворцы по берегам словно уменьшились в размерах. Тысячетонные арки мостов с ползущими муравьишками-автомобилями стали невесомы. Шпили, блеклые без солнца, были легки и непрочны, свернутые из позолоченной бумаги. Его родной город казался игрушечным, выстроенным на наковальне.

...И над утратившим реальность миром
Повисло небо нереальное — накидкой
Полупрозрачной тонкой пелены.
Свет, словно бы искусственный, белёсый,
Рассеянно и ровно сквозь нее
На город лился, не давая тени...

Не было сил уйти домой. Душа мальчишки жаждала толчка, опровержения. Ноги сами тащили его по центральным улицам, он вглядывался в лица прохожих. Замедлившееся время растягивалось.

И вдруг — на набережной Фонтанки — мимо него промчался открытый военный грузовик с пушкой на прицепе. Пушка была темно-зеленого защитного цвета, приземистая, длинноствольная. Затвор и дульный тормоз на конце ствола — в брезентовых чехлах. Солдаты в кузове прятали головы в поднятые воротники шинелек. Это была обычная полевая пушка образца еще военных лет, и, глядя на нее,

Григорьев подумал нелепо, что до Америки ей своим снаряжением не достать. На сколько, в самом деле, могла она выстрелить? Ну, пусть на пятнадцать, на двадцать километров. Вряд ли везли ее в какой-то связи с мировым конфликтом. Но эта пушка мчалась сквозь притихший, замедленный город под белёсым небом, — через Невский, мимо Аничкова моста, к Летнему саду, — мчалась по-военному стремительно, слегка подпрыгивая на совершенно гладком асфальте, поводя стволом, отражаясь ломкой зеленой молнией в темных стеклах двухсотлетних дворцов. Редкие в рабочий час прохожие на набережной Фонтанки провожали ее взглядами.

И вместе с ними глядя ей вслед, задетый расходящимся вихрем ее движения, под прокашливанье уличных репродукторов, которые готовили к воздушной тревоге, почувствовал он горячими толчками сердца: всё может обойтись... может обойтись... обойдется...

И ощутил другое, смятенно-неуловимое для мальчишеского разума: его спасшийся мир уже не будет прежним! На горизонте жизни, там, где высились межзвездные корабли — серебряные башни остриями под облака на опрокинутых чашах фотонных отражателей, рапиры человеческой мысли, нацеленные в бесконечность, — изламывались сверкающие очертания, размывались, затягивались ватной дымкой.

Нева, октябрь шестьдесят второго,
И этот призрачный белёсый свет...

Але не понравилось. «Зачем ты написал это? Хочешь показать, что твое поколение тоже что-то пережило?»

Литконсультант из отдела поэзии разъяснял ему, что белый стих его лишен внутренней динамики, что произведение губит неопределенность авторской концепции, и что для публицистической поэзии лучше выбирать факты сегодняшнего дня.

Может, не слишком задело бы это Григорьева, но отчего-то ему вдруг показалось, что литконсультант, поучавший его, — молод. Так же молод, как Аля. И это внезапно привело его в ярость.

— 2 —

Туда и обратно вдоль стеклянной стены. Аля всё не появлялась... Значит, в этом году не получилось у него ни одной публикации. В следующем, 1985-м, тоже, наверное, не будет. Новый повод любопытствующим для расспросов.

После нескольких рассказов, напечатанных в неприметных сборничках «молодых авторов», слушок о них, к досаде Григорьева, просочился среди знакомых. Особенно донимали на работе. Выискивали его героям прототипов среди своих сотрудников. Допытывались: с чего это вообще, нормальный с виду человек потянулся в сочинительство?

Григорьев, как с полетами, не нашел сразу нужной защиты. Ворчал, отмахивался, пока так же, как с полетами, не выручила Аля. Она сказала: «Отвечай им просто, что это — твоё хобби». Стали отставать, удовлетворенные. А если кто бросал пренебрежительно, что — мало ли теперь жизнью недовольных инженеров царапают прозу да стихи и бегают по редакциям, — Григорьев соглашался: конечно, немало. Вот и он тоже.

По редакциям он, правда, не ходил. Рукописи посылал почтой. Тщательно отпечатанные, каждая — в прозрачной полиэтиленовой папке, и все вместе — в плотном конверте для служебных бумаг. (Аля смеялась над ним. Он покорно вздыхал: да, бюрократ, воспитали.) Возвращались рукописи через разное время — через несколько месяцев, через полгода, иные и через год. Возвращались помятые, разлохмаченные, сохранившие прикосновения чужих рук. Прозрачные голубые папочки исчезали всегда — в редакциях, видно, был на них голод. Григорьев как-то подумывал закупить сразу на трешку десятка два копеечных этих папок и послать в очередном конверте. Но когда Аля сказала: «Всё равно не делаешь!», — подумал еще и, действительно, не сделал.

Рукописи возвращались не просто так, а с рецензиями. Когда-то первые рецензии Григорьев читал с трудом: фальшиво-благожелательные строчки били по глазам, холод стыда

и беспомощности останавливал сердце. Но достаточно быстро пришло к нему удушливое спокойствие привычки, и, пробегая глазами объяснение очередного отказа, он просто отмечал для себя, что вот эту рукопись не читали совсем, потому и отделались общими фразами, эту — хоть просмотрели. А если приходила рецензия подробная, в которой рассказ его хвалили за новизну темы, но ругали за бедность языка, он доставал из разбухшей «отказной» папки рецензию прежней редакции, где тот же рассказ хвалили за язык и стиль, но отвергали за избитость темы, скалывал оба листка одной скрепкой и в ту же папку убирал.

Поначалу казалось унижительным и то, что новые рукописи приходится отправлять всё в те же журналы. Но тут уж выбора не было, — журналов издавалось немного. Да и отвечали из одной редакции всякий раз иные люди. А рукописи — надо же было куда-то посылать.

Просто удивительно, что несколько раз его всё же напечатали — в тех самых малотиражных сборничках «начинающих». Но странное он всякий раз испытывал чувство, глядя на свое оттиснутое типографским шрифтом детище, словно отчужденное теперь от него и даже просто — чужое, до того трудно узнавался текст, искореженный редакторской правкой. Строчки и периоды прозы, такие ломкие, которые он бережно подгонял друг к другу, пытаясь добиться мелодии, кривлялись хаосом раздробленных осколков. Он заставлял себя прочитывать всё до конца, точно выполнял неприятную, но обязательную работу. Потом убирал в тот же ящик письменного стола, где лежала папка с отказами...

Он повернулся, зашагал назад вдоль стеклянной стены и неожиданно, — как всегда при встречах с ней, неожиданно, — увидел Алю. Она пробиралась сквозь толпу, тоненькая, похожая на мальчика в джинсах и курточке, с коротко стриженной темноволосой головкой. Оглядывалась, отыскивая его, и когда нашла, в темных блестящих ее глазах, на всем детском личике мгновенно отразилась не радость, а почти враждебность.

Так было всегда перед расставанием. Так иногда бывало и в самые нежные минуты их любви, когда Аля, запрокинутая, стонущая, задыхающаяся от его ласк, вдруг открывала глаза, всматривалась ему в зрачки и с неожиданной ненавистью начинала отталкивать его, бить, бить — по лицу, по плечам: «Будь ты проклят!» Он сжимал ее плечи, ловил губами рот, чтобы заставить замолчать, а она металась на подушке с полными слез глазами и кричала: «Будь проклят! Не можешь забыть, так хоть притворись, притворись!..»

Аля остановилась перед ним. Смотрела молча, не здороваясь.

— Здравствуй... — виновато сказал Григорьев.

Каждый раз в первые минуты встречи она казалась ему неправдоподобно юной.

— Пойдем отсюда! — приказала она.

Григорьев покорно вышел за ней к внешней балюстраде. Внизу подкатывали ярко освещенные автобусы, всасывая вытекавшую из залов прибытия толпу. Вспышками разноцветных огоньков в темном небе, точно гроздь, сорвавшаяся с елочной гирлянды, медленно падал лайнер, давя гулом турбин.

Закурили. Григорьев не любил, когда она курила, — повзрослому, затягиваясь и выпуская струйки дыма. Здесь, в полутемноте, да еще в профиль, она была не так красива: вздернутый носик и срезанный подбородочек делали ее лицо похожим на лисью мордочку. Всегда, когда Григорьев хотел вызвать в себе раздражение против нее, он заставлял себя видеть в ее чертах это недоброе, лисье.

— Надолго летишь?

— Дней на десять.

— Отдохнешь от меня...

Сквозь бензиновый перегар и табачный дым он уловил аромат ее духов — сладковатый, чистый. Рука сама потянулась к ее коротко остриженной головке, пальцы скользнули по мягким, теплым завиткам волос, легли на тонкую горячую шейку. Аля притихла. Когда поднимался в его душе этот прилив нежности и горечи, он становился беззащитен перед ней...